

## ВОКРУГ ДОСТОЕВСКОГО

Много лет назад, а именно – в 1967 г. – я вернулся после учёбы в Казанском университете в Омск и стал работать в газете «Омская правда». Мне уже приходилось писать о том, что в её редакции царила тогда по-настоящему творческая атмосфера, здесь трудились такие люди, как Елена Злотина-Миронова, Михаил Сильванович, Олег Ячменёв, Владимир Ляшко, фронтовики Валерий Зиняков и Сергей Иванович Веремей. Все они были старше, но относились ко мне как к равному, всячески поддерживали. Газета печатала не только те материалы, которые я должен был писать, что называется, «по службе», но и мои рассказы, краеведческие очерки. В том же Доме печати, на пару этажей выше, располагалась редакция газеты «Молодой сибиряк», где работали Виталий Попов, Виктор Чекмарёв, Марк Мудрик, Иван Токарев. Иногда я печатался и там. Вскоре стал сотрудничать с радио и телевидением, с такими корифеями эфира, как Инна Шпаковская

---

© А.Э. Лейфер, 2015

и Людмила Шорохова. Среди моих знакомых появились и омские писатели – Владимир Макаров, Иван Петров, Вильям Озолин (увы, вскоре из Омска уехавший), Иван Яган, Эдмунд Шик, Сергей Поварцов, Евсей Цейтлин, а главное – Михаил Малиновский и Геннадий Гаврилов, которые одарили меня своей многолетней дружбой. Вне Дома печати я познакомился и подружился с краеведом Андреем Фёдоровичем Палашенковым, историком и архивистом, фронтовиком Евгением Николаевичем Евсеевым.

Кроме того, на атмосферу литературного и культурного Омска второй половины 60-х гг. XX в. влияла общая обстановка в стране. Формально хрущёвская «оттепель» закончилась осенью 1964 г., после того как «энергичные» соратники «нашего Никиты Сергеевича», устроив «дворцовый переворот», отправили его на пенсию. Но фактически результаты послесталинского десятилетнего «послабления» уже невозможно было вытравить никаким «закручиванием гаек».

Вернусь, однако, к своей скромной персоне. В 1968 г. я напечатал в «Омской правде» небольшой, но вызвавший доброжелательную реакцию рассказ «Узник», посвящённый пребыванию в Омске великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Для того чтобы написать этот рассказик, я перечитал уйму литературы и пришёл к выводу, что пребывание автора «Записок из Мёртвого дома» в моём родном городе освещено в этой литературе слабо. А приближалось 150-летие со дня его рождения. Из прессы было видно, что в Ленинграде, Москве, Семипалатинске, Старой Руссе началась большая предъюбилейная работа – готовилось полное 30-томное собрание сочинений, создавались новые музейные экспозиции, стали выходить кинофильмы по его произведениям... Зашевелились с открытием Литературного музея имени Ф.М. Достоевского и в Омске.

И вот я решил попробовать написать серию популярных очерков о невольном пребывании писателя в Сибири, о людях, окружавших его здесь. В одиночку взяться за тему не решился, привлёк к проекту Евгения Евсея. Писал текст, понятное дело, сам, а Евгений Николаевич при редактировании «остужал» бю-

щие у меня иной раз через край эмоции, помогал с научным аппаратом. Благодаря тому что супруга Е.Н. Евсеева – Зинаида Ивановна работала в Пушкинской библиотеке, литературу (порой весьма редкую) мы получали без всяких задержек и ограничений. В результате появились такие очерки, как «Сибирские друзья», «Четверо», «Дорогой мой Валихан...», «Сергей Дуров». Они были вначале напечатаны в «Омской правде», потом в журнале «Сибирские огни», вызвали некоторый общественный резонанс.

Но вскоре соавторство престало меня устраивать, накопленный не столько в «голове», сколько в «душе» материал о Ф.М. Достоевском просился наружу, и «выплеснуть» его можно было только самостоятельно, без всяких «согласований» с соавтором. Так, уже в середине 1970-х гг. рождалась серия эссе «Всегда со мной». Я писал её взхлёб, писал, не зная, чем продолжу и когда закончу, то и дело читал друзьям готовые куски, слушал их противоречивые отзывы и снова садился за письменный стол.

В 1975 г. эссе «Всегда со мной» напечатала газета «Молодой сибиряк», публикация шла «с продолжением» весь июль. В том же году эссе (сильно сократив) поместили и «Сибирские огни». Но «молсибовская» публикация мне дороже. И не только потому, что она наиболее полная, а ещё и из-за короткого предисловия – его написал мой незабвенный друг Михаил Малиновский:

*«Много лет омский литератор Александр Лейфер занимается исследованием сибирского периода жизни великого русского писателя Ф. М. Достоевского. Его очерки на эту тему печатались в газетах и журналах. И вот новая рукопись.*

*О чём она? О том Достоевском, каким воспринимают его наши современники, недавно, в 1971 году, отметившие его 150-летний юбилей. А точнее сказать – о Достоевском сегодняшнем, о нашем Достоевском – поистине великом и поистине русском писателе. И этим прежде всего необычна рукопись А. Лейфера. Автору удаётся органично охватить географию нашей страны – конечно, Омск, Москва, Тобольск, Иркутск, забайкальское село Красный Чикой. И по времени здесь, естественно, соединяются прошлое столетие и сегодняшний день. Наиболее любопытны и*

неожиданны люди, о которых пишет автор. Это читатели-забайкальцы, скульптор Дима... Это и современники Достоевского.

Автор достигает двойной цели: на фоне сегодняшнего дня нам отчётливо видится величие и близость Достоевского, неуязвимость его творений; и что особенно важно – на фоне личности великого писателя остро ощущается историзм сегодняшнего дня. Нет, это не обыденность – установление барельефа на доме, где он однажды бывал, это исторический факт. И цель скульптора – сделать «не фотографию, а образ» – зафиксирована...

В этом мне видится наибольшая ценность произведения А. Лейфера. Оно названо «Всегда со мной». Точное название: великое нашей Родины, нашего народа всегда с нами...

*Михаил МАЛИНОВСКИЙ,  
председатель областного литературного объединения.*

Не оставил я тему Достоевского и позже – в меру своих сил популяризировал его в других своих работах. В результате всё это вылилось в книгу «Вокруг Достоевского» и другие очерки (Омск, 1996).

Сегодня я, воспользовавшись любезным приглашением редколлегии сборника «Достоевский и душа Омска» (название мне очень даже нравится) помещаю в нём часть эссе «Всегда со мной» и два кусочка из книги «Вокруг Достоевского» – «Город» и «Из записной книжки».

### **Из эссе «ВСЕГДА СО МНОЙ»**

Действительность стремится к раздроблению.  
Ф.М. Достоевский. «Записки из Мёртвого дома»

### **ТРИ ЦИТАТЫ**

Удивительно, насколько разными глазами можно смотреть на одни и те же вещи.

Как известно, мальчиком Федя Достоевский был отдан в Петербургское военное инженерное училище.

Был в этом училище военным воспитателем некий А.И. Савельев. Так вот, в 1896 году он вспоминал на страницах «Нового времени»:

*«В описываемое мною время кондукторская рота Главного инженерного училища, где находился Ф.М. Достоевский, представляла собою совершенно отдельный мир...» Это была особая корпорация молодых людей от 14 до 18 и более лет, у которых были свои предания, правила и обычаи; хорошо подготовленные в элементарном образовании, поступившие в училище по конкурентному экзамену, каждый из них числился на службе и присягал с поступления в училище. В этом маленьком миру молодые люди щеголяли своим знанием, честностью, беспристрастием, уважением к личности и другими качествами человека, понимающего свои нравственные права и обязанности».*

Прямо-таки петь хочется, читая такое. Петь, разумеется, маршируя в строю.

В те же годы, что и Федя Достоевский, имел несчастье очутиться в том же училище Дмитрий Григорович – тоже будущий писатель. Он курса не кончил, не выдержал. А потом, много лет спустя, писал следующее:

*«Даже теперь, когда меня разделяет от этого времени больше полувека, не могу вспоминать о нём без тягостного чувства... Представить трудно, чтобы в казённом и притом военно-учебном заведении могли укорениться и существовали обычаи, возможные разве в самом диком обществе... Начальство не могло об этом не знать; надо полагать, оно считало зло неизбежным и смотрело на него сквозь пальцы, заботясь главным образом о том, чтобы внешний вид был исправен и высшая власть осталась им довольна...»*

Далее Григорович описывает вещи ужасные: драки, изувержские избиения, изощрённые издевательства над новичками.

Достоевскому же из училищного бытия запомнилось совсем-совсем другое. Он свои воспоминания изложил в письме омичу Ивану Викентьевичу Ждан-Пушкину.

Вначале немного об этом человеке. Он служил инспектором классов в Сибирском кадетском корпусе и, на свой страх и риск, как мог помогал каторжнику Достоевскому. Деньги ему в острог передавал, письма, книги. У начальства разных снисхождений выпрашивал. Делал он это по просьбе своей тобольской знакомой – Марии Францевой, а та, в свою очередь, дружила с жёнами «тобольских» декабристов – Натальей Дмитриевной Фонвизиной и Прасковьей Егоровной Анненковой. Вот такая цепочка!

Иван Викентьевич и Достоевский потом немного переписывались. И вот наша третья и главная цитата – из письма Фёдора Михайловича, которое отправлено в Омск из Семипалатинска 17 мая 1858 года:

*«...Вы Вашим письмом разбудили во мне все тяжёлые воспоминания моего собственного воспитания. Но я был в отцовском доме до 15 лет и не заглох в корпусе. Но что я видел перед собою, какие примеры! Я видел мальчиков 13 лет, уже рассчитавших себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать (я был в инженерах) и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства! Это я видел и слышал собственными глазами и не одного, не двух!»*

Какое поразительное, какое «достоевское» наблюдение! Мальчики, дети, мечтающие о чинах и наградах

### К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИКЕ

– Он был моложе. Почему он у тебя такой старый?

– Не в том дело. Я не фотографию леплю, – отвечает мне мой хороший приятель Дима.

– Он был моложе, – упрямо повторяю я. – Он был такой же, как мы сейчас. И ему было страшно.

– А мне наплевать! Я образ делаю, а не портрет.

– Зачем же ты меня позвал?

– Скажи – нравится или не нравится?

Фёдор Михайлович стоит во весь рост. В кандалах, с бородой. В какой-то длинной рубаше. Книжка в руке. А на заднем плане барельефа – зарешёченное окно. Маленькое такое окно.

– Нравится.

– Ну и всё. Давай теперь сочини, что писать. А то вот тут принесли текст, да какой-то не такой.

Мне тоже кажется, что текст плохой. Суетливый какой-то, длинный, с ненужными подробностями. Будто человек, его составлявший, боялся, что кто-нибудь когда-нибудь потом взыщет с него, персонально с него, за неточность, за завышение оценок, за отсебятину, и вообще... Вообще, чувствуется, что не нравится, ох, не нравится вся эта затея автору текста. Знаменитый, конечно, писатель. Мировая, конечно, величина. Но уж очень он какой-то неудобный. Толковать его надо, разъяснять.

– Так сочинишь? – спрашивает Дима.

В отчётных и других докладах Дмитрия Манжоса называют молодым и талантливым, растущим и ищущим. Выставлялся, награждался, принят в Союз художников.

Хороший парень Дима. Хорошо, что именно ему дали этот заказ. Вот ходит он, бородатый и красивый, по своей грязноватой мастерской, вот лезет на приставленные к барельефу леса и увлажняет глиняного Фёдора Михайловича мокрой тряпкой.

Сейчас лето 1971 года. Мы ещё не знаем, что будет дальше. Не знаем, что глиняный Фёдор Михайлович пролежит на заводе чуть ли не год, пока не превратится в чугунного, и к юбилею не успеет. И что Дима переедет в другой город. И что меня будут просить выступить на открытии мемориального барельефа, а потом в самый последний момент акт официального открытия отменят. И что зимой у Димы умрёт отец, и он приедет его хоронить, а через несколько дней после похорон мы пойдём к этому дому и немного постоим возле чёрного чугунного барельефа, официально не открытого, но – слава Богу! – накрепко прибитого к стене здоровенными штырями, которые Дима выполнил в виде декоративных шурупов. И холодно будет смотреть на снег, который нанесло на ноги Фёдора Ми-

хайловича, на книжку его, на непокрытую, наполовину обриту голову...

Всё это будет потом. А пока Дима расчищает на столе место – раздвигает инструменты, куски засохшего хлеба, захватанные стаканы, телефон, позапрошлогодние журналы.

– Садись! Вот тебе бумага, а я сейчас приду.

Что же написать мне на этой бумаге?

Его привезли в наш город в самом начале 1850 года. Очень холодно в это время в наших краях.

Потом четыре года в остроге. Ровно четыре – от звонка до звонка. Сколько раз за это время бывал он в доме коменданта де Граве? Пять? Десять? А, может, пятьдесят? Наверняка, приглашался Фёдор Михайлович якобы для какой-то работы. Может же военный комендант крепости попросить острожное начальство прислать ему каторжника – дров надо поколоть, снег почистить – мало ли какая нужда. А если в это время услать прислугу, а если детей отправить в дальнюю комнату?.. Страшно, видимо, было коменданту. И неудобно.

Но особенно, конечно, доставалось супруге его: ведь надо угостить этого ужасного гостя, да посытнее, да так, чтоб не обидно было (уж очень обидчив!), и в мужскую беседу слово вставить, а он сидит, молчит, от обеда отказывается. Повернётся – цепи гремят. И на голой половине головы – порезы от тупой острожной бритвы. Бедная женщина! Как хоть звали-то её? Написал он потом полстроки, сказал, что была она «благородная и умная», а имя не указал, не догадался.

Да и коменданту тоже не сладко. Человек он военный, в изящной словесности не искушённый. Слышал, что называли не так давно этого угрюмого каторжника надеждой русской литературы и наследником великого Гоголя. Но о чём говорить с ним? А не дай Бог увидит кто, донесёт?!

Сколько раз это было, сколько комендантских обедов съел Фёдор Михайлович? Пять? Десять? Может быть пятьдесят? Кто знает...



А потом кончился четвёртый год, расклепали на нём кандалы, и жил он в городе нашем месяц, ожидая дальнейших указаний от столичных начальников. Жил у друзей, носил партикулярное платье, в гости ходил, куда хотел, – в этот-то дом наверняка.

А потом, в 1859 году, после семипалатинской солдатчины, когда мчался на жительство в Тверь, останавливался в этом городе. В городе, где острог. Его острог – дом мёртвых.

Скорее, скорее! В Россию! Пусть пока Тверь, а не Петербург, но ведь это же рядом. Рядом с братом Михаилом, с журналами, с эксплуататором Краевским! Он ещё покажет им всем, они ещё узнают, что могут дать десять лет молчания.

Скорее – тут уж не до долгих остановок. «В Омске пробыл трое или четверо суток. Был у старых знакомых и начальников, как то: де Граве и проч...» – напишет он потом в Семипалатинск своему ротному командиру – недалёкому, но такому славному Артемию Ивановичу Гейбовичу. (Как хорошо, однако, что догадался бывший рядовой штрафного линейного батальона описать бывшему начальнику свою дорогу из Семипалатинска до Твери. Артемий Иванович будет хранить это письмо чуть ли не за иконами, чуть ли не молиться на него будет. Спасибо, Артемий Иванович! Как бы мы без вас доказали сто с лишним лет спустя, что на комендантском доме надо устанавливать Димин барельеф?)

– Ну что, сочинил?

Это Дима вернулся. Со свёртком под мышкой. И, кажется, я догадываюсь, что в этом свёртке.

– Так, давай почитаем. «В этом доме бывал великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский». В этом доме... великий русский. А что, старик, ведь хорошо!

Приятель мой Дима выдвигает на видное место свои невымытые грешные стаканы.

– И знаешь, почему хорошо? Потому, что просто. Бывал – и всё. И точка. А то развели антимионии – зачем бывал, да какого числа бывал. Главное, что бывал! Великий! Давай за великого! Я ведь сегодня, можно сказать, закончил, вот только надпись твою выдавлю – и всё.

– Между прочим, он это дело – не особенно...

– Ну, будь здоров!.. А Фёдору Михайловичу мы всё-таки немножко плеснём. Капельку, вот сюда... Чтобы на заводе отлился хорошо.

Вот такая была история.

Ещё могу разъяснить, почему не состоялось официальное открытие.

Дело в том, что рядом, в соседнем доме, расположено у нас одно медицинское учреждение. Медицинское учреждение, за пребывание в котором надо платить, и приличную, говорят, сумму. Учреждение, куда пациенты приходят не добровольно, а, так сказать, с сопровождающими. Короче, чего тут крутить – районный медвытрезвитель рядом расположен. Так вот, одна начальствующая дама (бывшая учительница) сказала, что это непедагогично – устанавливать мемориальный барельеф рядом с таким учреждением. Ведь сюда могут туристы прийти, и школьники-экскурсанты, и ещё кто-нибудь. Руководящая эта дама сказала ещё, что вообще не надо бы устанавливать здесь никаких барельефов, но раз уж прибили, то пусть, но без разных там открытий, без разных речей и торжеств. Непедагогично. Неудобно как-то.

И выходит теперь по утрам мои непутёвые земляки из дверей вышеупомянутого медицинского учреждения, и бредут они мимо босого Фёдора Михайловича получать выговора от начальства и выволочки от жён. И думается мне, что, если взглянет кто из них на Диминову работу, станет тому человеку ещё тошнее, а, может, – и стыднее.

Очень даже педагогично.

## **СЛУЧАЙ В КРАСНОМ ЧИКОЕ**

Красный Чикой – это большой районный центр в Читинской области. В этой же области проводится каждый год знаменитый литературный праздник – «Забайкальская осень». И вот однажды, а именно в 1972 году, мне повезло – пригласили на «Осень».

Группа наша (или, как говорят читинские комсомольцы – организаторы «Осеней», – бригада) прилетела в Красный Чикой. Вечером мы выступали в переполненном деревянном клубе.

Подошла очередь выступать мне. Рассказывал я тогда о судьбе несчастного Ильинского, о том, как непутёвый тобольский подпоручик стал прототипом Мити Карамазова.

Я и так-то не умею говорить, а тут ещё на самой середине истории Ильинского погас в зале свет. Вот так просто – взял и погас.

Прошёл по рядам небольшой шумок, потом кто-то из зала говорит – спокойно так говорит, ласково:

– Да вы продолжайте, это у нас бывает. Продолжайте, мы слушаем.

Так в темноте и договорил. Тихо было – будто самому себе рассказывал.

Устали мы в тот день здорово: дорога, встречи, выступления, какое-то неправдоподобное, в какие-то неземные краски выкрашенное сентябрьское Забайкалье...

Привезли нас в гостиницу – маленькую, деревянную. Заснул, как убитый.

Среди ночи внезапно проснулся, что-то разбудило меня, а что – не пойму никак спросонья. Вдруг слышу – за стеной чей-то мужской голос называет мою фамилию. Чётко так называет и громко, чуть ли не кричит. А потом вообще стал по буквам проносить:

– Леонид, Елена, Иван-краткий, Фёдор, Елена, Родион...

Да уж не во сне ли всё это? Нет, не во сне! Да что же это тогда?

Честно говорю – как-то даже не по себе стало.

Оделся, вышел в коридор. Из-под дверей соседней комнаты – свет. И оттуда же – голос:

– Леонид, Елена, Иван-краткий...

Открыл я тихонько дверь, гляжу – сидит член нашей бригады Андрей Сергеевич Некрасов – с телефонной трубкой. Фу ты, господи, вот в чём дело!

Андрея Сергеевича вы все знаете. Да, да – все, без исключения. Знают его также ребяташки Англии, Чехословакии, Соединённых Штатов, Австралии и многих других стран. Андрей Сергеевич написал «Приключения капитана Врунгеля». Я потом был у него в гостях в Москве и видел целую полку с переводами «Врунгеля» на разные языки. Его даже на японский перевели, даже на хинди.

Увидел меня Андрей Сергеевич, прикрыл трубку рукой. «Что, – спрашивает, – разбудил? Уж извини, – говорит, – старик, связь с Москвой плохая, кричать приходится».

Оказывается, перед отъездом один столичный еженедельник заказал Андрею Сергеевичу репортаж про «Осень». Вот он его стенографистке и диктует. И как раз то место диктует, где говорится, как вёл себя зал, когда свет потух.

Прикрыл я дверь, не стал мешать. Ушёл к себе, снова лёг. Но заснуть уже не смог.

Всё перепуталось в моей бедной голове: Красный Чикой, о существовании которого я, омич, и не подозревал ещё позавчера. Непутёвый подпоручик Ильинский. Капитан Врунгель. Тёмный, безмолвный, заинтересованный зал. Митя Карамазов. Омск, Тобольск, Чита. Леонид, Елена, Иван-краткий. Московский еженедельник... При чём тут я?..

А в репортаже Андрея Сергеевича про погасший свет почему-то не напечатали. Вычеркнули почему-то.

### **ЕЩЁ ТРИ ЦИТАТЫ**

Учитель мой, покойный Андрей Фёдорович Палашенков, говаривал:

– А Вы, дорогой мой, всё работаете? Это хорошо. Работать хорошо. Вот служить – служить плохо. Я, дорогой мой, только последние лет двадцать и работаю – как на пенсию вышел. А помните, у Фёдора Михайловича как здорово про работу сказано? Страшно сказано!

Скромничал, конечно, Андрей Фёдорович. Службист разве оставит после себя около двух сотен статей и несколько книг (в

числе последних – книжечка о местах Достоевского в Омске)? Разве станет он портить свои нервы, добиваясь открытия музеев: Глинки и Пржевальского – в Смоленске, сибирского садовода Комиссарова и борцов за власть Советов – под Омском? Разве будет равнодушный исполнитель приказов спасти от гибели и распыления библиотеки – славного историка сибирского Словоцова и учёного, замечательного поэта Петра Драверта? Любовь и работа делают такие дела. Работа и любовь.

Что же касается слов Фёдора Михайловича про работу, то вот они – в «Записках из Мёртвого дома»? В главе «Первые впечатления»:

«Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать её ловчее, скорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, – я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели».

«Мне пришло раз на мысль», – рассуждал автор «Записок...» Именно рассуждал, теоретизировал. Но, наверняка, даже он с мощной своей фантазией не смог бы себе представить такого:

«...В лагере проводились также совершенно бессмысленные работы, единственной целью которых являлось мучение

заключённых или уничтожение их. В основном эти работы поручались для разнообразия или шутки ради заключённым евреям и состояли, например, в том, что в один день их заставляли возводить стену, с тем, чтобы на следующий день снести её, а на третий день возвести снова, или же в том, что этих заключённых принуждали копать землю, относить её бегом на несколько сот метров, а затем приносить эту землю обратно и засыпать ею яму».

Это из сборника документов «Бухенвальд», переведённого с немецкого и изданного у нас в 1962 году. А конкретней – из обвинительного заключения по делу Эльзы Кох.

Меня поражает совпадение деталей. В мрачную, в тяжёлую, видимо, минуту Фёдор Михайлович написал о том, что было бы, если бы какому-то абстрактному негодяю вздумалось издеваться над одним из самых чистых, самых законных стремлений человеческих – над стремлением к осмысленному, разумному труду. И было при этом упомянуто таскание земли. И вот, лет эдак восемьдесят спустя, кривцовы двадцатого века додумались именно до таскания земли! С некоторыми, правда, вариантами. (Вот упомянул я плац-майора Василия Кривцова и чувствую: зря обидел человека. Что он по сравнению с той же Эльзой Кох – любительницей изящных безделушек из татуированной человеческой кожи? Так, жалкий дилетант, нервный алкоголик.)

В Бухенвальде сейчас музей, и всё это теперь история. Ужасная, но всё-таки история. Вот третья цитата. Она датирована концом марта 1974 года. Сто двадцать лет минуло с тех пор, как расклепали кандалы Фёдору Михайловичу. Читайте:

«Вот картина, которую можно увидеть, подъезжая к Великой китайской стене. Людской муравейник усеял склоны гор. В руках у каждого – кирки. Старые и молодые крушат ими пласты горных пород, сваливают огромными кусками вниз. Для чего? Ведь куски пород так и останутся неиспользованными. Это «лалянь», что в переводе могло бы означать «тяни и закаляйся». На жаргоне маоистов это называется «физической закалкой» тех,

кто нуждается в промывании мозгов. После такого воспитания не до размышлений!»

Это из статьи болгарского журналиста Димо Илиева «Как маоисты добиваются «большого порядка», которую перепечатала наша «Литературка».

Вот ведь какие дела.

### ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ «БОРЬБА»

В Иркутске я один раз боролся (идеологически, разумеется) с представителем западной прессы – корреспондентом американского журнала, который ездил по Сибири и собирал материал для серии очерков.

В Иркутске проходил большой литературный праздник, мы должны были ехать выступать во Дворец культуры одного завода. Собрались в просторном гостиничном холле и ждали автобус.

Американца я заметил сразу. Он прогуливался по холлу и, проходя мимо нашей компании, каждый раз пристально к нам присматривался. Наконец, подошёл, заговорил. Двое наших владели английским, и контакт налачился. Американец сказал, что его, разумеется, интересует культурная жизнь современной Сибири и что он очень рад случаю познакомиться с такой большой группой её, этой жизни, представителей. И что, вообще, он был бы счастлив, если бы мы разрешили ему поехать с нами во Дворец культуры, где бы он послушал наши выступления и посмотрел, как на них реагируют сибирские рабочие.

Я не знаю никаких языков, кроме русского. Школьные учителя, а потом университетские преподаватели пытались меня им научить (пытались в общей сложности десять лет), но ничего у них не вышло. Не дался. Поэтому я изучал американского коллегу, так сказать, визуально. Был он высокий, худущий, белобрысый. И одежда его была какой-то уж очень лёгкой для поездки по зимней Сибири. Он громко разговаривал с нашими «англичанами» – Ильёй Олеговичем Фоняковым и детским писателем-

братчанином Геной Михасенко, до меня долетали искажённые акцентом слова: «О, стихи! О, роман! О, Новосибирск!»

– О, Фёдор Достоевски! – сказал вдруг американец и полез за блокнотом.

Я понял, что «переводчики» что-то сказали американцу про меня. Великое имя Фёдора Михайловича сработало чётко и безотказно: раскрыв блокнот, заокеанский гость двинулся ко мне.

– Мы сказали ему, что ты живёшь в Омске, где был на карторме Достоевский, и что ты пишешь об этом.

А американец уже заносил в блокнот мою фамилию, спрашивал, что именно я написал и где напечатал.

Признаться, чувствовал я себя не совсем уютно.

Но вот вопросы у американца кончились, и тут-то я и решил «побороться».

– Спросите у него, какие материалы напечатал его журнал, когда праздновался 150-летний юбилей Достоевского.

Американец выслушал вопрос, помялся, взглянул на меня сверху вниз, поморгал белобрысыми ресницами и произнёс какое-то короткое слово.

– Ничего они не напечатали, – перевёл Гена.

– Спроси у него – почему?

На этот раз американец говорил дольше.

– О чём это он?

– В общем, он говорит, что это не в англо-саксонских традициях – отмечать юбилей.

– Скажи ему, Гена, что этот юбилей отмечали во всём мире, – разошёлся я, – и что по этому поводу было специальное решение ЮНЕСКО.

Гена (явно с удовольствием) перевёл. Американец, криво улыбаясь, опять о чём-то заговорил – как выяснилось, – опять про англо-саксонские традиции. В ответ я сделал два международных жеста – развёл руками и пожал плечами. Тут подошёл автобус.

Потом мы выступали во Дворце. Читал свои прекрасные стихи из цикла о Пушкине Марк Давидович Сергеев, хохотал зал



над рассказами Николая Самохина, и много ещё было разного и интересного.

Я же нарочно стал говорить о Достоевском и видел боковым зрением, как Гена переводит мои слова американцу, которого посадили с нами на сцену. А потом сам американец вдруг встал и прочитал собственные стихи! Ему хлопали дважды: после того, как он закончил, и после того, как Геннадий перевёл содержание стихотворения.

Больше я американца не видел.

Интересно, написал он обо всём этом или нет?

**Из книги  
«ВОКРУГ ДОСТОЕВСКОГО» И ДРУГИЕ ОЧЕРКИ»**

**ГОРОД**

«Подробности, главное подробности», – просит Иван Карамазов Смердякова. Как выяснилось через много лет после кончины автора «Братьев Карамазовых», он вложил в уста Ивана фразу, которую то и дело произносил сам. В 1906 году вдова писателя Анна Григорьевна Достоевская с карандашом в руке прочитала только что выпущенное ею же «юбилейное» (25 лет со дня смерти) издание сочинений мужа. Она сделала на полях томов примечания к тем местам великих произведений, которые несут «черты его личной жизни, его привычки». Фраза про подробности – «любимое выражение Фёдора Михайловича, если он был чем-то заинтересован».

Вряд ли когда-нибудь перестанет быть заинтересованным наше отношение к Достоевскому.

Вот только несколько подробностей.

Есть особенный, ни на каких картах не зафиксированный город – Омск Достоевского. Он невелик, но он существует и будет существовать вечно – как вечно будет существовать великий мир писателя, как вечно человеческая память.

Несколько улиц, десятка полтора домов, кусочек набережной Иртыша – вот и всё. Но сколько могут рассказать эти улицы и дома...

Небольшое деревянное здание. Наверняка тысячи людей проходят и проезжают мимо него, не испытывая при этом никаких особых чувств. Но вот что пишет авторитетнейший специалист – известный историк архитектуры профессор В. И. Кочедамов в своей книге «Омск: как рос и строился город». Там, где описывается Омский военный госпиталь, сказано:

«В корпусе, на углу современных улиц Гусарова и Больничного переулка, лечился Ф. М. Достоевский...»

За этими двумя строками – нечто гораздо большее, чем просто краеведческий факт... Даже если это легенда.

Перед отправкой в Сибирь Достоевский говорил в прощальном письме брату, которое было отослано после гражданской казни из Петропавловской крепости:

«Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю, через 4-ре года будет возможно. Я перешлю тебе всё, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольётся! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках».

Его, писателя, беспокоили не грядущие лишения, не предстоящее совместное житьё с уголовниками – его волновало, сможет ли он делать главное дело своей жизни – писать о человеке.

И он смог! Вот здесь, в этом приземистом, но до сих пор ещё крепком одноэтажном доме располагалась тогда арестантская палата, которую выделил для острога военный госпиталь. Попадал сюда Достоевский, и до острога не отличавшийся крепким здоровьем, часто. К нему, на свой страх и риск, хорошо относился главный доктор госпиталя (или, как тогда говорили, штабс-доктор) Иван Иванович Троицкий: угощал обедом со своего стола, давал читать газету, старался лечить Достоевского получше, задержать под своей опекой подольше.

Доктор этот был человеком честным и твёрдым: мемуарист отзывается о нём так: «Этот топором срубленный и лыком сшитый человек действительно вполне достоин был порученного ему места. Он начал службу ординатором в одном из госпиталей новгородского военного поселения (кажется, в Старой Руссе) и во время бунта поселян, в 1831 году, избежал смерти по любви подчинённых ему солдат... достиг высокого положения корпусного штабс-доктора благодаря своим заботам, попечительности и гуманному отношению ко всем больным без исключения, начиная с высшего начальства и кончая последним арестантом-преступником».

Сам же Достоевский в «Записках из Мёртвого дома» пишет: «Старший доктор хоть и был человеколюбивый и честный человек (его тоже очень любили больные), но был несравненно суровее, решительнее ординатора, даже при случае высказывал суровую строгость, и за это его у нас как-то особенно уважали. Он являлся в сопровождении всех госпитальных лекарей после ординатора, тоже свидетельствовал каждого поодиночке, особенно останавливался над трудными больными, всегда умел сказать им доброе, ободрительное, часто даже задушевное слово и вообще производил хорошее впечатление».

И дело, в конце концов, не в обедах, которыми угощали Достоевского Троицкий и его жена Мария Николаевна. Не это, разумеется, главное.

Главное начиналось ночью, когда дверь палаты запирали снаружи. Каторжник Достоевский вынимал тогда огарок свечи и самодельную, шитую из листов обыкновенной писчей бумаги тетрадку.

Каторжник вновь становился писателем.

Времени (да и бумаги) было маловато. А хотелось срочно записать, зафиксировать небывалые, не испытанные никем из русских литераторов впечатления.

Когда кончалась госпитальная передышка, тетрадь оставалась здесь, у одного из фельдшеров, – до следующего раза: в острожной камере её могли отобрать.

Тетрадь эта известна сейчас литературоведам всего мира как Сибирская, она хранится в Москве, в рукописном отделе главной библиотеки страны. Текст её неоднократно опубликован, досконально изучен и прокомментирован. Записи в тетради пронумерованы самим Достоевским. Это не дневник и не попытка писать сразу нечто готовое и отдельное. Это тетрадь, рассчитанная на будущую работу. В ней собраны меткие народные выражения, образцы фольклора, прибаутки, короткие (для памяти) бытовые сцены, тюремные песни, даже остроумные ругательства, на которые соседи Достоевского по нарам были, надо думать, великие мастера.

Для примера – первые записи:

«1) Эй, ты! деньги есть, а спишь!

2) Нашего брата, дураков, ведь не сеют, а мы сами родимся.

3) А вам спасибо за то, что меня наблюдаете.

4) Полно вашим дурачествам подражать.

5) Не слушался отца и матери, так послушайся теперь барабанной шкуры.

6) Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей и так дальше.

Повели меня в полицию по милости твоей и так дальше.

7) Вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна луковица. «Что ж, бать, ты меня посылал на добычу; вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашёл». – «Дурак! Луковица – ан копейка, люди говорят. Сто душ, сто луковиц – вот те рубль».

8) А в доме такая благодать, что нечем кошки из избы выманить.

Кат – по малор(оссийски) палач. Положив он меня, да как огрел – то весь свит запалився.

9) В брюхе-то у них Иван Таскун да Марья Екотишна.

10) Здравствуй! ты ещё жив?! а я по тебе поминки делал: десятка два камней собакам раскидал.

11) Чёрт трое лаптей сносил, прежде чем их в одно место собрал.

*Такой народ!*

12) *Жулик. Измясничал его.*

13) *А у нас народ бойкий, задорный. Семеро одного не боимся.*

Многое из этой невзрачной тетради перекечевало потом на страницы великих книг – «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», но прежде всего – на страницы «Записок из Мёртвого дома». А ведь именно с этой книги и начинается тот Достоевский, которого знает сегодня весь цивилизованный мир. В тетради 523 записи, более 90 раз обращался к ним автор «Записок...».

\*\*\*

В конце прошлого века журнал «Всемирная иллюстрация» писал:

«...В настоящее время есть в Омске старожилы, которые знали нашего знаменитого писателя во время его пребывания в омском остроге; они указывают места и здания, где он работал вместе с другими арестантами». Журнал напечатал тогда снимок дома, стены которого Достоевский штукатурил. Он до сих пор сохранился на улице Спартаковской, сейчас здесь один из учебных корпусов медицинской академии.

Улица, носящая имя писателя, невелика – всего несколько домов. Но один из них стоит того, чтобы о нём рассказать по-подробней.

Документ этот уже не раз приводился как пример тупости и бесчеловечности судебной-бюрократической машины: в «Степном списке» государственных преступников, находящихся в Омском остроге, против фамилии автора «Бедных людей» обозначено – «чернорабочий; грамоте знает». Под списком подпись коменданта Омской крепости полковника де Граве. Не стоит торопиться осудить его, ибо сам Достоевский в «Записках из Мёртвого дома» называл коменданта «человеком благородным и расудительным».

Алексей Фёдорович де Граве жил на углу нынешних улиц Достоевского и Победы, где в 1971 году, когда широко отмеча-

лось 150-летие автора «Записок из Мёртвого дома», установлен мемориальный барельеф с надписью: «В этом доме бывал великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский».

Мемуарист вспоминает, что хозяин дома был большой жизнелюб, человек добродушный и весёлый, любитель вкусно поесть. А рядом особо подчёркнуты ещё два момента: «не пользовался особым благоволением корпусного командира» и «по возможности облегчал положение находящихся в крепостном остроге арестантов».

«Облегчал», как мог, комендант и участь арестанта Достоевского. Об этом есть несколько свидетельств, приведём здесь одно. В 1889 году в журнале «Русская старина» появилась небольшая заметка Н.Т. Черевина «Полковник де Граве и Достоевский». Вот её полный текст:

«Читая интересную статью А. П. Милюкова в достойнейшем журнале «Русская старина» изд. 1881 г. о Фёдоре Михайловиче Достоевском, я вспомнил о недостойной статье одного из соузников Достоевского по заключению в Омском остроге, кажется, поляка, вышедшей тотчас же после смерти Фёдора Михайловича, также в 1881-м году, и напечатанной в то время в некоторых газетах. В этой статье неизвестный автор повествует, якобы Фёдор Михайлович от плац-майора Омской крепости Кривцова подвергался до трёх раз наказанию розгами. Это совершенная небылица. Г. Кривцов по своей желчности и скверному характеру, может быть, и в состоянии был бы это сделать, но при таком добрейшем коменданте, какой был в то время в Омске – полковнике де Граве, никак бы не посмел; комендант на другой же день, при утреннем рапорте, не преминул бы доложить об этом корпусному командиру, и не поздоровилось бы Кривцову! Не может быть, чтобы говор об экзекуции, постигшей писателя Ф. М. Достоевского, не распространился бы по городу, я же служил в то время в корпусном штабе старшим адъютантом и не мог бы не знать, если бы такой случай произошёл. Да сверх того госпитальное начальство, где, как упоминает ав-

тор, после экзекуции Ф. М. Достоевский был на излечении, не оставило бы варварский поступок Кривцова в секрете.

Не могу умолчать, что к участи Ф. М. Достоевского многие относились в Омске весьма сочувственно; в госпитале же известный наш писатель оставался весьма долго на излечении своей постоянной болезнью (падучей), по которой поступал, и госпитальные дамы по своей гуманности, в особенности жена старшего доктора г-жа Троицкая, посылали Достоевскому чай и часть из своего обеда».

Не случайно, возвращаясь из Семипалатинска в Россию в 1859 году, писатель навестил коменданта. Побывал в доме, где сейчас Литературный музей, носящий его имя.

Давным-давно снесли сам острог, он был старым и ветхим ещё в те времена. Но можно свернуть за драмтеатр, постоять, помолчать, подумать. На этом месте и располагалась каторжная тюрьма – средоточие человеческих страданий и слёз, точно и страшно названная писателем Мёртвым домом. (Именно – точно и страшно. Попытаемся взглянуть на это противоестественное словосочетание глазами тех читателей, которые когда-то увидели его впервые: Мёртвый Дом. Ведь Дом – это всегда человеческое тепло, жизнь, детский смех, очаг, свет, покой. А перед ним стоит слово, обозначающее тлен, безысходность, конец самой жизни – Мёртвый...).

Можно подойти к Тобольским воротам, представить себе, как по утрам через них ежедневно проходила на работы, звеня ножными кандалами, партия каторжников. И среди них – он. С таким же, как у всех, жёлтым тузом на спине, в грубой одежде, с наполовину обритой головой. Известный всей читающей России писатель, недавний завсегдатай блестящих литературных салонов столицы разбирал вот на этом берегу вмёрзшие в лёд барки или носил в крепость кирпичи из стоящего неподалёку кирпичного сарая...

Омск Достоевского... Это ещё и отношение наших современников, сегодняшних омичей к личности писателя и памяти

о нём. Редкий горожанин не водил своих приезжих родственников или друзей по этому особенному городу.

В самом конце жизни автор «Записок из Мёртвого дома» оставил в последней записной тетради такие слова: «Хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему». Слова эти, как мы знаем, оказались пророческими. И всегда имя гения будет ассоциироваться с именем города на Иртыше.

### ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Однажды Достоевский сказал о себе на страницах «Дневника писателя»:

«Я человек счастливый, но кое-чем недовольный». Кое-чем!

\*\*\*

Ещё Ч. Ветринский, составивший в начале XX века книгу «Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках» (сыгравшую, кстати сказать, определённую роль в популяризации творчества великого писателя), высказал о вступительной статье к ней мысль, оказавшуюся прямо-таки пророческой:

«Достоевский был одною из тех исключительно гениальных натур, изучение которых в сущности никогда не будет закончено, ибо каждое новое поколение и каждое новое глубокое исследование будут открывать не только новые подробности и детали, но и новые точки зрения».

Не этим ли объясняется следующий факт. Было подсчитано, что творческое наследие Достоевского в количественном отношении в десять раз (!) меньше объёма литературы о нём: семьсот печатных листов и семь тысяч. (Данные наверняка устаревшие, так как подсчёт производился в 1969 году, а вторая цифра имеет постоянную тенденцию к увеличению.)

\*\*\*

В 1922 году Корней Чуковский, уже тогда начавший заниматься Некрасовым (а следовательно – и его окружением),



процитировал забытый рассказ-фельетон Панаева «Литературные кумиры, дилетанты и проч.». Панаев говорит про Достоевского так:

«Кумирчик наш стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт... Бедный! Мы губили его, мы сделали его смешным!»

Рассказец этот был напечатан в 1855 году в «Современнике». Достоевский не так давно снял робу каторжника и заменил её солдатской шинелью. В Семипалатинске он получил, наконец, возможность читать, прочитал, наверняка, и этот номер «Современника». Не думаю, чтобы панаевские перлы ввергли его в отчаяние – он уже в молодые годы понял, что литературная борьба была всегда делом жестоким, а участники её лишены манер благородных девиц и ради красного словца не пожалеют и отца. (Хотя чисто с человеческой точки зрения написать и напечатать такое про человека, находящегося в Сибири и лишённого возможности ответить, – это, конечно, удар ниже пояса.)

Чуковский же комментирует эту цитату следующим образом: «Когда в Европе говорят о России, там первое же слово «Достоевский», и весело читать в нечитаемой книге, как какая-то комаришка жужжит:

– Я свергла его с пьедестала. Я погубила его».

Мне вспомнилась эта история в распрекрасной Малеевке, в писательском Доме творчества, где я оказался на одном семинаре и где есть не менее прекрасная библиотека. Мне потребовался Достоевский, и я взял два здоровенных тома из шестого полного собрания сочинений 1905 года издания – другого не было. Открыл и сразу же заметил на полях пометки, сделанные остро отточенным карандашом. Их было много, этих пометок, – трудно было не заметить.

Скобочки, птички, вопросительные крючки (их особенно много), отмеченные впрок абзацы и предложения. Кто-то когда-то работал над этим томом – работал профессионально. Вот и литературоведческие аналоги: «Современник», «Вислоухие» – «Щедрин», «богостроительство»; «Герцен», «Искра», «Вехи»...

Серьёзно трудился человек над «Бесами», не на шутку готовился дать очередной бой их автору. Вот опять пометки и короткие, как ярлычки, надписи: «Гоголь», «См. Чернышевского», «взять», «эка!»

А вот подлиннее:

«Эта мысль в «Идиоте».

Или:

«Да ведь это лакейский язык, а не мужицкий!»

И так далее и тому подобное...

Ну как тут не вспомнить строки Леонида Мартынова:

*Невский*

*Остаётся просто Невским,*

*Отвергая переименованья.*

*Достоевский*

*Остаётся Достоевским,*

*Отвергая перетолкованья.*

\*\*\*

И опять письмо – от 11 января 1858 года из Семипалатинска. Письмо Каткову – с планом романа (Долинин считает, что речь шла о «Записках...») и, конечно же, с просьбой аванса. Но не в этом дело.

А дело в одной фразе, вернее – в одном даже слове, которое прямо-таки останавливает:

«Роман мой я задумал (ещё) на досуге, во время пребывания моего в г. Омске».

На досуге!

\*\*\*

Литератор Георгий Кублицкий, побывавший в США, напечатал в «Сибирских огнях» очерк о коллекции американского журналиста Джорджа Кеннана. Кеннан ездил в 1885 году по Сибири и собирал материал для своей, впоследствии нашумевшей

книги «Сибирь и ссылка». Кублицкий пишет, что в Нью-Йоркской публичной библиотеке смотрел альбом фотографий, которые американец привёз из Сибири. «Листая альбом, – читаем в очерке, – вижу фотографию Достоевского... Портрет, наклеенный в альбом, снят именно в Омске».

Что это? Ещё одна легенда? Ведь самая ранняя фотография Достоевского, известная нам, датирована 1859 годом – это знаменитый снимок с Чоканом Валихановым.

\*\*\*

Данные Всесоюзной книжной палаты на 1 января 1971 года: за период советской власти произведения Достоевского издавались 260 раз тиражом 16 миллионов 175 тысяч экземпляров, на 22 языках.

Печальная цитата из эссе В. Каверина «Собеседник. Заметки о чтении»:

«Несколько лет тому назад я был в Японии в составе группы известных наших писателей. Для японской интеллигенции нет большего имени, чем Достоевский, которого они справедливо считают величайшим гением всех времён и народов. К моему изумлению выяснилось – при обстоятельствах, нелестных для советской литературы, – что в нашей группе нашлись писатели, никогда не читавшие Достоевского и знающие его лишь понаслышке».

Как сопоставить это?